



Общ. - 1998. - 15-2-1 ЯНВ -

## Против суемудрия

-с.в.

Из последних бесед с Георгием СВИРИДОВЫМ

*Он завещал не произносить над его гробом напыщенных речей. Не только потому, что и в момент ухода боялся изменить правилу: служенье муз не терпит суеты. И не потому еще, что сполна выразил себя в музыке — кто к ней хоть единый звук прибавит! В этом волеизъявлении Свиридова есть намек на то, о чем мы не подозреваем, а он — не забывал: жизнь человека есть приобщение Чуда, приближение к непостижимой Тайне...*

*Он весьма неохотно соглашался на интервью. А если уж высказывался публично — то по какому-то важнейшему не для него одному поводу. Исполняя последнюю волю Георгия Васильевича Свиридова — молча в память о нем, — с особым вниманием вслушиваешься в его собственные размышления вслух. Мы публикуем сегодня, спустя девять дней после кончины, фрагменты бесед с ним, записанных его учеником, композитором Иваном ВИШНЕВСКИМ, музыкальным обозревателем «Народного Радио».*

Когда спрашивают у меня, каким я представляю идеального слушателя, я плечами пожимаю: о своей музыке говорить как-то смешно... У нас в последнее время появилось много композиторов, любящих порассуждать о своей музыке. И вообще люди стали много о музыке говорить. Это очень плохо. Это суемудрие — ложная, излишняя мудрость. Простой русский крестьянин творил великую музыку — вспомните старинные песни, еще не испорченные цивилизацией, которые без всякой нотной грамоты распевали на много голосов и о которых, конечно, не мудрствовали лукаво. То есть относились к ним целомудренно.

Все разговоры о том, что нужно учиться понимать музыку, что есть узкий круг избранных ценителей, — такой вздор! Они, эти разговоры, по-моему, неспроста: мне кажется, что музыка потеряла сегодня свое духовное значение. И ведь нельзя сказать, чтобы не слушали сегодня Бетховена или Мусоргского — нет, слушают. Но как-то отстраненно, без прямого контакта. Так же и современную музыку слушают: оценивая, любящая, но не воспринимая ее как беседу, когда не только с тобой музыкант говорит, но и ты ему на том же языке отвечаешь. Язык утрачен, это несомненно. И мы, музыканты, должны искать его — тот, который и люди сегодня ищут, чтобы понять себя. Надо искать язык. Не ценою снижения тона беседы, не за счет унижения содержания, но возвращением или прорывом к крупной религи-

озной идее. И главное, чтобы этот шаг был сделан естественным образом. У нас сегодня пишется много музыки духовной, церковной, но в большинстве случаев это все стилизации. Не к формам надо вернуться, а к нравственным категориям.

Это единственный путь, потому что он лежит между двумя крайностями: общедоступностью, то есть халтурой, и салонностью — ведь все современные музыкальные фестивали, по сути, большие салоны. А салонность в искусстве, эти самые «междусобойчики» — ничем не лучше халтуры...

О чем шел разговор в музыке русской древности, и средних веков, и эпохи барокко? О любви к человеку, к природе, к миру, к родной земле? Да нет: эти чувства не есть духовные начала жизни. Природу может любить мало ли кто... Это все — лишь составные части чего-то большего и важнейшего в нашей жизни. И они — вторичны. Ведь на иконах Богородицу сначала писали просто на золотом фоне, потом уже, много позднее, сквозь этот фон стал проступать пейзаж. Или прекрасная «Сикстинская Мадонна»: там изображены и Дева Мария, и Младенец Христос, и ангелы, и святая Варвара... и облака... и внизу стоит коленопреклоненный человек, ощущающий себя в гармонии с высшим миром.

Гармония — вот что мы потеряли.

Вы посмотрите: когда мы говорим об искусстве, обязательно упускаем один момент — самый главный элемент... божественное — другим словом не могу выразить этого. Мы не задумываемся: а почему раньше, во времена гениев и титанов, так часто вспоминали о вдохновении, то есть о том, что дается свыше. «Божественный Рафаэль» говорили, «божественный Микеланджело» — ведь не цену им тем самым назначали, а, наоборот, указывали, что есть в искусстве что-то такое, чему и цены нет, что выше нашего разума. Можно подумать, к таким пышным эпитетам обращались оттого, что были о человеке лучшего мнения. Но тут совсем иное: осознавали несовершенство, неспособность человека. Потому и ценили каждое прикосновение к Тайне, что знали: как же оно ничтожно, это усилие, по сравнению с необычайной таинственностью мироздания. А какая цена у нас? «Рафаэль стоит 15 миллионов долларов» — такая пошлятина...

Мне кажется, великая идея, которая может захватить сегодня

и людей искусства, и все общество, — именно осознание нашего неведения и бесценности всякого приближения к Тайне. Я очень часто в последние годы переречитываю о Павла Флоренского, и восхищаюсь им, и скорблю о нем: ведь это наш Паскаль, его жизнь — достояние всего человечества, всей истории, и как страшно он погиб! Миллионы погибли, и каждого из них жалко, но таких, как Флоренский, Шаламов, Домбровский, — особенно жаль, если только понять: что же они значат для всех остальных. Насколько беднее с их уходом становится мир.

У меня в «Поэме памяти Есенина» есть одна часть, которая как бы разбирает это мое сочинение пополам — называется «Девятьсот девятнадцать». На нее не очень обращают внимание, а для меня она во всей вещи, может быть, главная. 1919 год — самый страшный в жизни моей семьи: тогда погибли мой дед, мой отец, двое моих дядей, мой брат... Гражданская война. Самая кошмарная, убийственная для русского народа, которую мы до сих пор переживаем. Я проклинаю эту войну — и тех, кто ее развязал. И когда в поэме звучат слова: «Я последний поэт деревни» — это не Есенин говорит, а я сам. Это я пою отходную своим близким, русской жизни, русскому крестьянству. И эта панихида переходит в финальную часть — ее трактуют обычно так, что я славлю «Новую Русь», что это радостный колокольный звон... Нет, это совсем другое: бессмертие творчества, его вознесение над всеми земными бурями, над реками крови. Такие вихри космические, такие жертвы принесены — что это не может заканчиваться просто плачем, похоронной нотой, это слишком ничтожно для такого события, как революция. И что мы можем противопоставить такой исторической катастрофе? Только человеческий гений, прикасающийся к высшему знанию и высшей мудрости.

Я верю, что скоро к осмыслению революции и всей нашей истории XX века придут многие художники — и напишут об этом более широко, трагично и ярко, чем сделали наши предшественники. Потому что один очевидец берет момент надежды, другой — потерю всего, третий с ужасом думает о количестве убитых, а это все должно быть переплетено. Я пытаюсь именно эту сложную переплетенность выразить: восторг, и отчаяние, и молитву, и богоборческие мотивы. Ну, то есть — как в нашем времени это все перемешалось...